

Лекция 10.

Государственный интерес (II): его определение и его главные признаки в XVII веке

15 марта 1978 г. Государственный интерес (II): его определение и его главные признаки в XVII веке. —

Новая модель исторического времени,

подразумеваемая государственным интересом. —

Специфические черты государственного интереса по отношению к пастырскому управлению: (1) Проблема спасения: теория государственного переворота (Ноде).

Необходимость, насилие, театральность. — (2)

Проблема послушания. Бэкон: вопрос о мятежах.

Различие между Бэконом и Макиавелли. — (3)

Проблема истины: от мудрости государя к государственному сознанию. Рождение статистики.

Проблема секрета. — Призма рефлексии, в которой

возникла проблема государства. — Присутствие и

отсутствие элемента «население» в этой новой

проблематике

Сегодня я хотел бы очень коротко поговорить с вами о том, что в конце XVI-начале XVII века понимается под государственным интересом, поговорить, опираясь на определённое количество текстов, либо итальянских, как в случае с Палаццо, либо английских, как в случае с текстом Бэкона, либо французских, а также ещё на текст Хемница, о котором я вам в прошлый раз говорил [1] и который представляется мне особенно важным. Что же понимается под государственным интересом? Начну с обращения к двум или трём страницам трактата Палаццо, опубликованного на итальянском в самом конце XVI века, или, возможно, в первые годы XVII века [2] В национальной библиотеке имеется издание, датированное 1606 годом, которое, возможно, является не первым, но в любом случае французский перевод, первый французский перевод датируется 1611 годом. Итак, этот трактат называется «Рассуждением о правительстве и подлинном государственном интересе», и на первых страницах Палаццо ставит вопрос: что следует понимать под «интересом» и что следует понимать под «государством»? «Интерес», говорит он, — и вы увидите, насколько всё это является, скажем, схоластикой, в самом банальном и тривиальном смысле термина — что же такое «интерес» (raison)? Raison — это слово, которое используется в двух значениях: во-первых, это основание, это сущность вещи, то, что образует единство, объединение всех её частей, это необходимая связь между различными элементами, которые это единство образуют. [3] Вот что такое raison в смысле основания. Но raison используется также и в ином смысле.

Субъективно raison — это определённая способность души, которая как раз и позволяет познать истину вещей, то есть именно ту связь, ту целостность различных частей, которая её образует. Следовательно, raison — это средство познания, но также и нечто такое, что позволяет воле быть применённой к тому, что познается, то есть быть применённой к самой сути вещей. [4] Следовательно, raison будет самой сущностью вещей, познанием основания вещей и той разновидностью силы, которая позволяет воле и до некоторой степени обязывает её следовать самой сути вещей. [5] Это об определении слова raison.

Теперь определение слова «государство». «Государство», *etat*. говорит Палаццо, это слово, которое понимают в четырёх значениях. [6] «Государство» — это некая область, *dominium*. Во-вторых — это юрисдикция, говорит он, это совокупность законов, правил, обычаев, в какой-то мере, если угодно, это то, что мы называем — здесь я, разумеется, использую слово, которое он сам не использует — определённым институтом, совокупностью институтов. В-третьих, *etat* — это, говорит он (говорит переводчик, чьи слова я здесь привожу), положение в жизни, то есть индивидуальный статус, профессия: профессия судьи, или состояние безбрачия, или религиозная должность. Наконец, в-четвёртых, *etat*, говорит он, это качество вещи, качество, которое противопоставляется изменению. *Etat* — это то, что если и не делает какую-то вещь полностью неподвижной — здесь надо отметить одну деталь: так как, говорит он, некоторые неподвижности могут быть противоположны даже состоянию покоя вещи, то необходимо, чтобы некоторые вещи двигались, чтобы на деле оставаться в покое, — то во всяком случае это качество, это состояние, которое заставляет вещь оставаться тем, что она есть.

Что такое республика? Республика — это государство, *etat*, это состояние в четырёх значениях слова, о которых я только что говорил. Республика — это прежде всего некая область, территория. Затем, — это сфера юрисдикции, совокупность законов, правил, обычаев. Республика — это если и не состояние, то по меньшей мере совокупность состояний, то есть состояний индивидов, которые определяются посредством их статуса. И наконец республика — это определённая стабильность этих трёх предшествующих аспектов, территории, юрисдикции или статуса индивидов. [7]

Что же можно назвать «государственным интересом» (*raison d'Etat*), в обоих смыслах слова *raison*, объективном и субъективном? Объективно государственным интересом называют то, что необходимо и достаточно, чтобы республика в четырёх значениях слова «*etat*» сохраняла свою целостность. Возьмём, например, территориальный аспект республики. Скажем, что если такой-то фрагмент территории, такой-то город, расположенный на территории, такая-то крепость для её защиты действительно необходимы для сохранения целостности этого государства, скажем, что этот элемент, эта территория, этот фрагмент территории, эта крепость, эти города будут стороной, частью государственного интереса. [8] Теперь, если взять субъективную сторону слова *raison*, то что называют государственным интересом? Итак, «правило или искусство» — я цитирую вам текст Палаццо — «правило или искусство [...], которое даёт нам знание о средствах достижения целостности, спокойствия или мира республики». [9] Это формальное определение, это схоластическое определение в обычном смысле слова не является собственностью Палаццо, и вы обнаружите его практически у большинства теоретиков государственного интереса. Я хотел бы процитировать вам текст Хемница, гораздо более поздний, поскольку он датируется 1647 годом. [10] Хемниц в этом тексте спрашивает: что же такое этот государственный интерес? Это «определённое политическое отношение, которое должно иметь место во всех публичных делах, во всех рекомендациях и намерениях, которое должно стремиться только к сохранению, к усилению, к благополучию государства, для чего следует использовать самые лёгкие и самые скорые средства». [11]

Это определение Палаццо, повторённое другими, Хемницем и многими теоретиками государственного интереса, сразу предоставляет, как вы видите, очевидные признаки. Прежде всего в этом определении государственного интереса нет ничего, что отсылало бы к чему-то иному, чем само государство. Нет никаких ссылок на естественный порядок, на мировое устройство, на фундаментальные законы природы, а также и на божественный порядок. Никакого космоса, никакой природы, никакого божественного порядка не представлено в определении государственного интереса. Во-вторых, вы видите, что этот государственный интерес сильно связан с отношением сущность — знание. Государственный интерес — это сама сущность государства, и это также знание, позволяющее следовать за нитью этого государственного интереса и ему подчиняться. Следовательно, это искусство с его практической стороной и со стороной знания. В-третьих, вы видите, что государственный интерес — это, в сущности... я бы сказал... нечто консервативное. В сущности, речь идёт о том, чтобы в этом государственном интересе, посредством этого государственного интереса определить, что необходимо и достаточно для того, чтобы государство существовало и сохранялось в своей целостности, и что необходимо и достаточно, чтобы эту целостность восстановить, если она была нарушена. Но такой государственный интерес никоим образом не является принципом преобразования, я

сказал бы даже эволюции государства. Разумеется, вы найдёте слово «усиление», к которому я ещё ненадолго вернусь. Но такое усиление, в сущности, только повышение, усовершенствование определённого числа черт и признаков, которые уже образуют государство, и это ни в коей мере не преобразование.

Государственный интерес, следовательно, консервативен. Как говорит маркиз Шастеле во второй половине XVII века, необходимо достичь «верной середины». [12] Наконец — и это, несомненно, самая характерная черта, — в этом государственном интересе, как вы видите, нет ничего, что имело бы отношение к внешней, предшествующей или даже дальнейшей конечной цели самого государства. Мы, разумеется, намерены говорить о благополучии. Об этом есть в тексте Хемница. [13] Конечно, и другие тексты также говорят о счастье. Но это благополучие, это счастье, это совершенство — кому они приписываются и с кем их следует соотнести? С самим государством. Вспомните о том, как святой Фома говорил о том, чем была республика и чем было королевское правление. Королевское правление действительно зависело от определённого земного искусства, но конечной целью королевского правления было сделать так, чтобы люди, основываясь на своём земном статусе и освобождаясь от этой человеческой республики, смогли достичь вечного благополучия и божественного блаженства. То есть в конечном счёте искусство управления, искусство царствования у святого Фомы всегда руководствовалось этой сверхземной, сверхгосударственной, я сказал бы, сверхреспубликанской, выходящей за пределы *res publico* целью, и это была та цель, которой *res publico* должна была в последнюю очередь и в последней инстанции руководствоваться. [14] Здесь же ничего подобного. Цель государственного интереса — это само государство, и если в нём имеется что-то вроде совершенства, счастья, благополучия, то это всегда будет совершенство, счастье, благополучие самого государства. Нет никакого последнего дня. Нет никакой окончательной точки. Нет ничего похожего на конечную и единую временную организацию.

Возражения, которые сразу же встречает Палаццо — сталкивался ли он с ними, представлял ли себе их суть? Это неважно, так как они вызывают интерес, потому что Палаццо говорит следующее: в конечном счёте, если управление, искусство управлять, следуя этому государственному интересу, не имеет никакой цели, которая была бы чужда самому государству, если вне государства людям больше нечего предложить, если в основе государственного интереса нет никакой конечной цели, то не можем ли мы после всего этого обходиться и без него? Почему люди обязаны подчиняться правительству, которое не предлагает им никакой цели, касающейся их лично и внешней для государства? И второе возражение: если верно, что государственный интерес имеет лишь консервативные цели, если эти цели являются внутренними для сохранения самого государства, то не достаточно ли, чтобы государственный интерес просто вмешивался тогда, когда, в силу стечения обстоятельств, которое может в определённых случаях иметь место, но которое совсем не обязательно имеет место всегда, существование государства оказывается под вопросом? Иными словами, не должен ли государственный интерес, искусство управлять и само управление вмешиваться тогда, когда речь идёт о том, чтобы исправить дефект или предотвратить непосредственную опасность? Следовательно, нельзя ли иметь периодическое управление и государственный интерес, вмешивающийся лишь по некоторым пунктам и в некоторые драматические моменты? [15]

На это Палаццо отвечает: ни в коей мере, республика не могла бы просуществовать и мгновения, она не могла бы сохраниться, если бы во всякий момент она не пользовалась бы, не поддерживалась бы искусством управления, руководствующимся государственным интересом. «Сама республика даже на час не была бы способна сохраниться в мировом пространстве». [16] Слабость человеческой природы, злобность людей являются причиной того, что ничто в республике не могло бы сохраниться, если бы по всякому поводу, в любой момент, в любом месте не было бы специфического воздействия государственного интереса, определённым способом подтверждающего и отражающего волю правительства. Следовательно, правительство всегда необходимо: всегда необходимо управление как акт продолжающегося творения республики.

Я считаю, что эта общая проблематика, выдвинутая Палаццо в его определении государственного интереса, важна по нескольким причинам. Из них я выделю лишь одну, следующую: дело в том, что вместе с этим анализом государственного интереса на первый план выступает время, политическое и историческое время, которое по отношению к тому, которое могло доминировать в мышлении Средних веков или даже в мышлении эпохи Ренессанса, обладает весьма характерными признаками. Так как речь идёт о неопределённом времени, времени управления, которое является управлением одновременно и консервативным, и вечно возобновляемым. Во-первых, как следствие, никакой проблемы начала, никакой проблемы обоснования, никакой проблемы легитимности, и тем более никакой проблемы династии. Даже проблема, которую ставит Макиавелли и которая заключалась в том, чтобы знать, как управлять, была дана тем же способом, каким была взята власть — нельзя управлять одним и тем же способом, если власть досталась по наследству, если она получена в силу узурпации или если она возникла в результате завоевания,⁷ — эти проблемы теперь уже не дают о себе знать или дают знать, но второстепенным образом. Искусство управления и государственный интерес уже не ставят проблему начала. Имеется управление, значит уже имеется и государственный интерес, имеется и государство.

Во-вторых, не только нет никакой начальной точки, которая была бы способна видоизменить искусство управления, но и проблема конечной точки не должна ставиться. И это, несомненно, обладает ещё более важным значением. То есть государство — государственный интерес и управление, руководствующееся государственным интересом, — не должно заниматься спасением индивидов. Оно не должно даже искать нечто подобное концу истории, или подобное её завершению, или что-то вроде точки, где соединялись бы время истории и вечность. Следовательно, ничего подобного мечте о последней империи, которой тем не менее руководствовались религиозные и исторические воззрения Средних веков. По сути дела, в Средние века люди ещё оставались в том времени, которое должно было в определённый момент стать единым, универсальным временем империи, в котором все эти различия стирались бы, и именно эта универсальная Империя возвещала бы о возвращении Христа и была бы местом этого возвращения. Империя, последняя империя, универсальная империя, какой была империя Цезаря или какой была бы империя церкви, была тем не менее чем-то таким, что неотступно преследовало мировоззрение Средних веков, в этом отношении там не было бесконечного управления. Не было государства или королевства, бесконечно подверженного повторению во времени. Теперь, наоборот, мы оказываемся во власти мировоззрения, где время истории является бесконечным. Это

неопределённость управленчества, для которого не предусматривается граница или конец. Мы оказываемся в открытой историчности, в силу бесконечного характера политического искусства.

При всех очевидных коррективах, к которым мы ещё вернёмся, идея вечного мира, я считаю, приходит на смену идее окончательной империи, и в то время, как окончательная империя была в Средние века смешением всех частностей и всех королевств в единой форме суверенитета, идея всеобщего мира — существующая уже в Средние века, но всегда как один из аспектов последней империи или также как один из аспектов империи церкви — эта идея становится желанной связью между государствами, которые останутся государствами. То есть всеобщий мир не будет следствием объединения в светскую или духовную империю, но станет тем способом, каким различные государства, если сложатся обстоятельства, смогут сосуществовать друг с другом в соответствии с равновесием, которое как раз и помешает господству одного государства над другими. Всеобщий мир — это стабильность, приобретённая в многообразии и посредством него, посредством уравновешенного многообразия, совершенно отличного, следовательно, от идеи окончательной империи. И затем эта идея будет ещё скорректирована — эта идея бесконечного управленчества будет заменена идеей прогресса, идеей достижения счастья и благополучия людей. Но это совершенно иное дело, подразумевающее некую вещь, отсутствие которой можно заметить во всём этом анализе государственного интереса, подразумевающее понятие населения.

Все это я говорил, чтобы установить общий горизонт государственного интереса, а теперь я хотел бы вновь обратиться к некоторым из признаков этого управления людьми, которое, следовательно, практикуется уже не под знаком пастырского искусства, а под знаком государственного интереса. И здесь я хотел бы проделать не исчерпывающий анализ, но совершить — я сказал бы, несколько замеров, но это неудачное слово — несколько срезов, связав государственный интерес с некоторыми из важных тем, с которыми мы столкнулись при анализе пастырства, то есть с проблемой спасения, проблемой послушания и с проблемой истины.

И чтобы изучить тот способ, каким государственный интерес осмысливает, анализирует спасение, я приведу точный пример — пример с теорией государственного переворота. Государственный переворот: весьма важное понятие в начале XVII века, поскольку ему были посвящены целые трактаты. Ноде, например, написал в 1639 году «Политические рассуждения о государственном перевороте». [18] Несколькими годами ранее появился более полемичный текст, в большей мере связанный с историческими событиями, текст Сирмона, озаглавленный «Государственный переворот Людовика XIII», [19] текст, который вовсе не был направлен против Людовика XIII, совсем наоборот. Так как выражение «государственный переворот» в начале XVIII века ни в коей мере не означало присвоение государственной власти одними за счёт других, которые до сих пор её удерживали, а теперь оказались её лишены. Государственный переворот — это совершенно другое. Чем же был государственный переворот в политическом мышлении начала XVII в? Это прежде всего неопределённость, бездействие законов и законности.

Государственный переворот — это то, что превосходит общее право. *Excessus iuris communis*, говорит Ноде. [20] Или ещё — это чрезвычайные действия вопреки общему праву,

действия, которые не сохраняют никакого юридического порядка, никакой формы юстиции. [21] Разве в этом отношении государственный переворот чужд государственному интересу? Разве он составляет исключение по отношению к государственному интересу? Абсолютно нет. Потому что сам государственный интерес, и это, как я полагаю, следует отметить особо, сам государственный интерес совершенно не однороден системе законности или легитимности. Что такое государственный интерес? Разумеется, это, как говорит, например, Хемниц, нечто такое, что позволяет нарушать любые «общественные, частные, фундаментальные законы, какими бы они ни были». [22] Государственный интерес должен на деле руководствоваться «не законами», но, если это необходимо, подчинять себе «сами законы, которые должны приспособляться к настоящему состоянию республики». [23] Следовательно, государственный переворот не является разрывом с государственным интересом. Наоборот, это элемент, событие, способ действия, который полностью вписывается в общий горизонт, в общую форму государственного интереса, то есть нечто такое, что превосходит законы, или во всяком случае законам не подчиняется.

Однако что же имеется такого особенного в государственном перевороте и почему это не просто одно из проявлений государственного интереса, наряду с другими? Дело в том, что государственный интерес, который в силу своей природы не должен подчиняться законам, который в своём основополагающем функционировании всегда выходит за рамки публичных, частных, основополагающих законов, обычно тем не менее законы соблюдает. Он соблюдает их не в том смысле, что он преклоняется перед законами, потому что позитивные, нравственные, природные, божественные законы более сильны, чем он сам. Он преклоняется перед законами, он соблюдает их — или стремится соблюдать — в той мере, в какой, если угодно, он полагает их в качестве элемента своих собственных действий. Государственный интерес есть во всяком случае нечто основополагающее по отношению к этим законам, но в своей обычной деятельности он их использует, потому что признает их необходимыми или полезными. Но случаются моменты, когда государственный интерес уже не может больше пользоваться этими законами, и когда он благодаря каким-то безотлагательным и неотложным событиям в силу определённой необходимости обязан от этих законов отрешиться. Во имя чего? Во имя спасения государства. Именно эта государственная необходимость по отношению к самому государству в определённый момент и подталкивает государственный интерес к тому, чтобы отринуть гражданские, нравственные, природные законы, которые ему было угодно признавать и на которые он до сих пор делал свою ставку. Необходимость, неотложность спасения самого государства исключает набор этих естественных законов и порождает нечто такое, что в каком-то смысле будет лишь прямым отношением государства с самим собой под знаком необходимости и спасения.

Государство берётся действовать само на себя, действовать быстро, непосредственно, без правил, с драматической неотложностью и необходимостью — и есть государственный переворот. Следовательно, государственный переворот — это не присвоение государственной власти одними за счёт других. Государственный переворот — это самопроявление самого государства. Это утверждение государственного интереса, который потребует, чтобы государство любым способом было сохранено, какими бы ни были средства для этого. Итак, государственный переворот как утверждение государственного интереса, как самопроявление самого государства.

В этой разработке понятия государства, важен определённый перечень элементов. Прежде всего это понятие необходимости. Имеется, следовательно, необходимость в государстве, которое превосходит закон. Или, скорее, закон того особого интереса в государстве, который и называют государственным интересом, и законом этого интереса будет во всяком случае то, что спасение государства предпочтительнее сего остального. Этот основополагающий закон, этот закон необходимости, который в сущности законом не является, превосходит всё естественное право, превосходит право, которое теоретики не осмеливаются прямо назвать божественным правом, правом, устанавливаемым распоряжениями самого Бога, и тогда они называют его «философским», чтобы замаскировать реальное положение дел, но Ноде говорит: государственный переворот подчиняется не «всеобщему, естественному, благородному и философскому правосудию» — слово «благородное» сказано с иронией, а слово «философское» нечто за собой скрывает, — государственный переворот, говорит Ноде, подчиняется «частному, неестественному, политическому правосудию [...], связанному с необходимостью государства». [24]

Политика, как следствие, не является чем-то таким, что включается во внутреннее содержание законности или системы законов. Политика имеет дело с чем-то иным, даже если она использует законы как инструмент, когда в некоторые моменты она испытывает в этом потребность. Политика есть нечто, имеющее связь с необходимостью. И вы обнаружите целую разновидность не философии, но... как сказать... похвальных слов, восторгов по поводу необходимости в политических сочинениях начала XVII века. Некто Ле Бре, например, говорил, что весьма любопытно в связи с научным мышлением эпохи, так как прямо этому научному мышлению противоречит: «Столь велика сила необходимости, что, как божественная правительница, не имевшая ничего священного в мире, кроме строгости своих бесповоротных решений, она располагает под своей властью всякую божественную и человеческую вещь. Необходимость делает законы немymi. Необходимость прекращает все привилегии, чтобы подчинить себе весь мир». [25] Итак, не правление в связи с законностью, а государственный интерес в связи с необходимостью.

Второе важное понятие — понятие насилия, разумеется, так как природе государственного переворота свойственно быть насильственным. Государственный интерес в своём обычном повседневном проявлении не является насильственным, так как законы в качестве рамки и в качестве формы он даёт себе сам и добровольно. Но когда этого требует необходимость, государственный интерес выражает себя в государственном перевороте, и в этот момент он является насильственным. Насильственным, то есть он обязан идти на жертвы, отнимать, причинять страдания, он вынужден быть несправедливым и смертоносным. Это, как вы знаете, принцип совершенно противоположный пастырству, где спасение каждого — это спасение всех, а спасение всех — это спасение каждого. Отныне перед нами государственный интерес, чьё пастырство — это пастырство выбора, пастырство исключения, пастырство жертвы некоторыми ради всех государств. «Чтобы сохранить справедливость в великом, — говорил Шаррон в одном высказывании, которое воспроизводится у Ноде, — необходимо иногда отклоняться от неё в малом». [26] И Хемниц в качестве прекрасного примера неизбежного насилия при государственном перевороте приводит тот факт, что Карл Великий сделал с саксонцами, когда он объявил им войну и захватил их территории. Хемниц говорит, что Карл Великий поставил судей, чтобы пресекать мятежи и волнения саксонцев, и эти судьи имели ту особенность, что, во-первых,

оставались неизвестными обществу, так чтобы подсудимый не знал, кто его судит. Во-вторых, они судили, не зная дела, то есть не установив фактов, которые вменялись ему в вину тем, кого они осуждали. В-третьих, их суд не подразумевал процесса, то есть никакого судебного ритуала не было.

Иначе говоря, это для Хемница уклончивый способ сказать, что Карл Великий поставил над саксонцами убийц, которые убивали, кого хотели и как хотели, не говоря почему. И кого же они должны были убивать? Нарушителей общественного покоя и противников государства. Здесь возникает идея государственного преступления, которую также можно было бы проанализировать, потому что это весьма важное понятие, которое в этот момент возникает и которое принимает в этот момент весьма своеобразные черты. И, как говорит Хемниц, в этом государственном перевороте Карла Великого, разумеется, имели место несправедливости, осуждались невиновные, но ярость саксонцев была укрощена, и система не имела продолжения. [27] Итак, государственный переворот является насильственным. Поскольку государственный переворот есть не что иное, как проявление государственного интереса, мы подходим к той идее, что по крайней мере в отношении государства нет никакой антиномии между насилием и этим интересом. Можно даже сказать, что насилие государства есть не что иное, как внезапное проявление его собственного интереса. И, вводя оппозицию, которую вы, несомненно, узнаете, если читали статью Жене в «Le Monde», напечатанную в сентябре прошлого года, [28] — текст, датируемый первой половиной XVII века (он был написан при Ришельё), утверждает следующее (автор его неизвестен): необходимо проводить различие между насилием и зверством, так как зверство — это насилие, которое «совершается лишь по прихоти частных лиц», тогда как насилие, совершаемое по согласию мудрецов», есть государственный переворот. [29] Эту оппозицию зверства и насилия повторяет Боссюэ, а Жене в свою очередь просто переворачивает традицию и назвал зверством государственное насилие, а насилием — то, что теоретики XVII века называли дикой силой.

Третье важное понятие после необходимости и насилия, — это, как я полагаю, неизбежно театральный характер государственного переворота. Действительно, государственный переворот, поскольку он является внезапным утверждением государственного интереса, должен сразу обнаруживать себя как таковой. Он должен сразу узнаваться по своим истинным чертам, прославляя необходимость, которая его оправдывает. Конечно, государственный переворот предполагает тайную сторону, необходимую для его успеха. Но чтобы привлечь сторонников и чтобы приостановка законов, с которой он неизбежно связан, не была отнесена на его счёт, необходимо, чтобы государственный переворот разразился воочию и чтобы на той самой сцене, где разразился он сам, вместе с ним выступил государственный интерес, который его вызвал. Государственный переворот должен, несомненно, скрывать свои методы и свои приёмы, но он должен торжественно заявить о себе в своих последствиях и в основаниях, которые его поддерживают. Отсюда необходимость инсценировки, и она обнаруживается в политической практике этой эпохи, например в Дне Одураченных, [30] в аресте принца, [31] в тюремном заточении Фуке. [32] Всё это делает государственный переворот возможностью суверена продемонстрировать вторжение государственного интереса и его преобладание над законностью, возможностью как нельзя более зрелищной.

Здесь мы касаемся проблемы, которая, очевидно, является второстепенной, но которую я, несмотря ни на что, считаю важной, — проблемы театральной практики в политике или также театральной практики государственного интереса. Театр, эта театральная практика, эта театрализация должна быть способом проявления государства и суверена, суверена как хранителя государственной власти. И можно было бы, я полагаю, противопоставить королевским церемониям, — которые от посвящения, например при коронации до въезда в город или похорон суверена, знаменуют его религиозность и соединяют его власть с религиозной властью и с теологией, — можно противопоставить этим традиционным церемониям королевской власти ту разновидность новоевропейского театра, в которой королевская власть желала себя проявить и воплотить и одним из самых ярких проявлений которой является практика государственного переворота, совершаемого самим сувереном. Итак, появление политического театра в сочетании, как бы с изнанки, с театральностью как основной формой политического представления, и в частности представления политического переворота. Ведь, скажем, одной из сторон исторического театра Шекспира является как раз театр государственного переворота.

Возьмите Корнеля, возьмите даже Расина — это всегда — хотя, может быть я преувеличиваю, но в любом случае довольно часто, почти всегда — представления государственных переворотов. От «Андромахи» [33] до «Аталии» [34] — сплошные государственные перевороты. Даже «Береника» [35] — это государственный переворот. Я считаю, что весь классический театр, в сущности, организован вокруг государственного переворота. [36] Поскольку в политике государственный интерес обнаруживается в определённой театральности, театр взамен организуется вокруг представления этого государственного интереса в его драматической форме, в напряжённой и жестокой форме государственного переворота. И можно было бы сказать, что двор, такой, какой организует Людовик XIV, это как раз и есть точка сцепления, место, где государственный интерес театрализуется в идее интриг, опалы, избранности, изгнаний, ссылок, и затем двор — это также место, где театр инсценирует само государство.

Скажем коротко, что в эпоху, когда квазиимперское единство мироздания распадается, в эпоху, когда природа лишается своей драматичности, освобождается от событий, избавляется от трагизма, в политической сфере происходит нечто иное, нечто противоположное. В XVII веке, в конце религиозных войн, — особенно в эпоху Тридцатилетней войны, начиная с великих договоров, начиная с поиска европейского равновесия, — открывается новая историческая перспектива, перспектива бесконечного управленчества, перспектива постоянства государств, у которых не будет ни цели их существования, ни границы во времени, появляется совокупность периодически возникающих государств, отданных на волю истории, у которой нет надежды, потому что она не имеет конца, государств, которые руководствуются интересом, законом которого является не закон легитимности, легитимности династической или религиозной, но закон необходимости, с которой государство должно столкнуться в переворотах, всегда оказывающихся случайными, даже если они и согласованы заранее.

Государство, государственный интерес, необходимость, угроза государственного переворота — всё это образует новый трагический горизонт политики и истории. В то время, когда рождается государственный интерес, рождается, я полагаю, некий трагизм истории,

не имеющий ничего общего с оплакиванием прошлого или настоящего, с жалобной мелодией хроник, бывших формой, в которой до сих пор проявлялся трагизм истории, трагизм истории, связанный с самой политической практикой, и государственный переворот — это в какой-то мере осуществление этого трагизма на сцене, какой и является сама реальность. И этот трагизм государственного переворота, этот трагизм истории, этот трагизм управленчества, не имеющего границ, но способного себя обнаруживать, в случае необходимости, в театральной и жестокой форме, именно этот трагизм Ноде, в весьма удивительном тексте, и характеризует, когда даёт своё определение, своё описание государственного переворота, и в этом тексте, как вы увидите, есть что-то наполеоновское, что-то, что заставляет думать о гитлеровских ночах, о ночах длинных ножей. Ноде говорит следующее: «[...] при государственных переворотах мы сначала видим, как сверкает молния, а затем слышим, как гремит гром». При государственных переворотах, «заутрени звучат раньше, чем их услышат, исполнение предшествует решению; всё происходит как у иудеев; [...] получает удар тот, кто думает, что его нанёс, умирает тот, кто думал, что находился в полной безопасности, страдает тот, кто об этом даже не думал, всё происходит ночью, во мраке, в тумане и сумерках». [37] На смену большим обещаниям пастырства, помогавшим переносить любую бедность, даже добровольную нищету аскетов, начинается теперь приходиться эта театральная и трагическая жестокость государства, которое во имя своего спасения, всегда находящегося под угрозой, всегда под сомнением, требует принять насилие, как самую чистую форму государственного интереса. Вот что я вам хотел сказать о проблеме спасения по отношению к государству, под углом государственного переворота.

Теперь второе, проблема послушания. И здесь я собираюсь взять совсем другой вопрос и совсем другой текст. Другой вопрос: это вопрос о мятежах и бунтах, которые, разумеется, были и до XVII века главной политической проблемой и по поводу которых имеется один текст, текст совершенно замечательный, написанный канцлером Бэконом, [38] Бэконом, которого уже никто не изучает и который конечно же является одним из самых интересных персонажей этого начала XVII века. У меня нет привычки давать вам советы относительно университетской работы, но если некоторые из вас желают изучить Бэкона, я считаю, что они потратят своё время не зря. [39]

Итак, в это время Бэкон пишет текст, который в переводе на французский называется «Очерк о мятежах и волнениях». [40] И здесь он даёт целое описание, целый анализ, я сказал бы, целую физику — мятежа и мер предупреждения мятежей, соответствующего управления людьми, и этот анализ имеет огромное значение. Во-первых, необходимо брать мятежи как разновидность феномена, феномена не столько чрезвычайного, сколько совершенно нормального, естественного, в каком-то отношении внутренне присущего самой жизни *res publica*. Мятежи, говорит он, подобны бурям, они происходят как раз в тот момент, когда их меньше всего ждут, в самом большом спокойствии, в периоды равновесия или равноденствия. В эти моменты равновесия и спокойствия что-то может замыслиться или зародиться, раздуваясь подобно буре. [41] Море начинает волноваться тайно, говорит он, и именно эти сигналы, эту семиотику мятежа и следует установить. Как можно в период спокойствия определить возможность бунта, который только ещё назревает? Бэкон (здесь я намерен двигаться за ним очень быстро) даёт некоторое число таких признаков.

Во-первых, шум, то есть пасквили, памфлеты, речи против государства и против тех, кто им управляет, которые начинают циркулировать. Во-вторых, то, что я назвал бы переворачиванием ценностей или во всяком случае суждений. Всякий раз, когда правительство делает нечто похвальное, это берётся с дурной стороны людьми, остающимися недовольными. В-третьих, приказы плохо циркулируют, и очевидно, что приказы циркулируют плохо в двух случаях: во-первых, в случае с тоном тех, кто разговаривает в системе распространения приказов. То есть те, кто передают приказы, разговаривают робко, а те, кто принимает приказы, говорят смело и дерзко. Итак, когда это переворачивание тона совершается, то необходимо к этому отнестись с недоверием. Другой случай всегда касается циркуляции приказов, это проблема истолкования, когда тот, кто получает приказ, вместо того чтобы принять его и исполнить, начинает его интерпретировать и включать в него собственные рассуждения, создавая препятствия между приказанием, которое он получает, и повиновением, которое при нормальном положении дел должно за этим приказанием следовать. [42]

Это те знаки, что идут снизу, которые, кажется, доказывают, что буря готова разразиться даже в период равноденствия и спокойствия. И затем знаки, что исходят сверху. Знаки, которые исходят сверху, на них также необходимо обратить внимание. Первые — это когда великие, могущественные, те, кто окружают суверена, те, кто ему служат, или его близкие родственники, когда все они демонстрируют, что повинуются не столько его приказам, сколько своему собственному интересу, и что они действуют по-своему собственному усмотрению. Вместо того, как говорит Бэкон, чтобы быть «подобно планетам, вращающимся со скоростью под воздействием первой движущей силы», в данном случае под воздействием суверена, вместо этого знать подобна планетам, затерянным на небе без звёзд, они движутся неизвестно куда, или, скорее, туда, куда желают, вместо того чтобы удерживаться на орбите, которая им предписана. [43] И наконец, другой знак, который государь невольно подаёт сам себе, — это его неспособность или нежелание больше принимать точку зрения, которая была бы внешней или высшей по отношению к различным партиям, которые в обществе противостоят друг другу и друг с другом борются, за которой следует незаметный для него самого выбор в пользу одной партии и поддержка её интересов за счёт остальных. Так, говорит он, когда Генрих III встал на сторону католиков против протестантов, он сам должен был обратить внимание, что тем самым он продемонстрировал, что его власть так мала, что он подчинился не государственному интересу, а интересу одной партии, и подал всем, как знати, так и народу, явный знак, что власть слаба и что, как следствие, можно против неё восстать. [44]

Итак, есть признаки мятежей. Они имеют также и причины; и здесь ещё схоластически, если угодно, ещё весьма традиционно Бэкон говорит: есть два вида причин мятежа, причины материальные и причины окказиональные. [45] Материальные причины мятежей: это не трудно, говорит Бэкон, их немного, их только две. Материя мятежей — это прежде всего бедность, или по крайней мере чрезмерная бедность, то есть определённый уровень бедности, который перестаёт быть выносимым. И, как говорит Бэкон, «бунтовщики, ведомые зовом желудка, хуже всего». [46] Вторая материя бунта, не считая живота, это голова, то есть недовольство. Феномен мнения, феномен восприятия, который, как настаивает Бэкон, не связан необходимо с первым, то есть с состоянием желудка. Можно быть совершенно недовольным тогда, когда бедность не является слишком большой, так как феномены

недовольства — это феномены, которые могут зарождаться в силу определённого числа оснований и причин, к которым мы ещё вернёмся и которые имеют мало общего с самой реальностью. На самом деле, говорит Бэкон, одно из свойств, один из признаков наивности народа заключается в том, что возмущаются теми вещами, которые того не стоят, и взамен принимают те вещи, которые не следовало бы терпеть. [47] Но вещи таковы, каковы они есть, следует учитывать и желудок, и голову, и бедность, и состояние общественного мнения. Голод и общественное мнение, желудок и голова — вот две материи мятежа. Это, говорит Бэкон, два огнеопасных материала, то есть они абсолютно необходимы, эти два условия — желудок и общественное мнение, желудок или общественное мнение, чтобы разразился бунт. [48]

Что касается окказиональных причин, то это те воспламеняющие элементы, которые попадают на огнеопасную материю. В конечном счёте нам неизвестно, откуда они берутся, и это, возможно, и не имеет значения. Эти окказиональные причины Бэкон перечисляет весьма беспорядочно. Это могут быть изменения в религии, это могут быть изменения в распределении привилегий, это может быть переворот в законах и обычаях, это может быть изменение режима налогов, это может быть также тот факт, что правитель возвышает до значительных постов недостойных людей, это может быть слишком значительное присутствие и слишком очевидное обогащение иностранцев, это может быть также нехватка зерна или продовольствия и повышение цен. Все это в любом случае, говорит Бэкон, «оскорбляя объединяет». [49] То есть окказиональные причины мятежа имеют место, когда достигается уровень осознанного недовольства определённым числом элементов, которые до сих пор остались разрозненными и не представлявшими значения, когда зарождается один и то же тип недовольства у различных людей; это, как следствие, приводит их к объединению, несмотря на расхождение их интересов.

Итак, мятеж имеет причины. Он имеет средства. Эти средства совершенно не следует стремиться применять к этому ряду окказиональных причин, поскольку эти окказиональные причины весьма многочисленны, и если такая-то окказиональная причина исчезает, всегда найдётся другая, которая и воспламенит эти огнеопасные материалы. На самом деле эти средства должны иметь некоторое отношение к этим огнеопасным материалам, то есть к желудку или к голове, или также к бедности и недовольству. Средства против бедности — здесь я излагаю бегло, хотя всё это интересно, так как это сама природа предлагаемых средств: избавиться от бедности и нищеты, говорит Бэкон, значит обуздать роскошь и устранить лень, праздность, бродяжничество, попрошайничество. Это значит: благоприятствовать внутренней торговле, увеличивать обращение золота, сокращая процентную ставку, избегая слишком большой собственности, повышая уровень жизни, — в конце концов он не использует это выражение, он говорит: лучше много людей, мало расходующих, чем мало людей, много расходующих, [50] — благоприятствовать внешней торговле, увеличивая стоимость сырья посредством труда, обеспечивая за границей транспортную службу. Следует также, говорит он, уравновесить ресурсы и население и сделать так, чтобы не было слишком много населения по отношению к ресурсам, которыми располагает государство. Следует уравновесить также пропорции между производительным населением и непроизводительным, каким является знать и духовенство. Итак, всё это необходимо сделать, чтобы помешать мятежу, чтобы погасить ту материальную причину бунта, которую создаёт бедность. [51]

Что касается недовольства, то здесь также необходим целый ряд методов и приёмов. И Бэкон говорит: в сущности, есть две категории индивидов внутри государства. Есть народ и есть знать. На самом деле, подлинный и действительно опасный бунт вспыхивает тогда, когда народ и знать объединяются. Так как сам по себе народ слишком медлителен, и он никогда не выступил бы с мятежом, если бы не подстрекательство дворянства. Что касается дворянства, бывшего, очевидно, малочисленным, то оно слабо и останется слабым, пока народ не будет предрасположен к волнениям. Медлительный народ и слабое дворянство — всё это гарантирует тот факт, что мятеж не будет иметь места и что недовольство не будет заразительным. Так, говорит Бэкон. В сущности, если смотреть на вещи со стороны знати и дворянства, то подлинной проблемы нет, потому что знать и дворянство всегда приспособляются.

Либо их подкупают, либо казнят. [52] Одного дворянина обезглавливают, одного склоняют к предательству, следовательно, знать всегда на нашей стороне, и это не будет проблемой. Однако проблема недовольства народа гораздо более опасна, гораздо более серьёзна, более трудна для решения. Следует сделать так, чтобы это недовольство народа, с одной стороны, никогда не достигало такой точки, что не находило бы иного выхода, кроме взрыва в мятеже и восстании. То есть народу следует всегда оставлять немного надежды. Во-вторых, необходимо сделать так, чтобы народ, который медлителен и который сам не может ничего сделать, никогда бы не нашёл руководителя у дворян. Следовательно, необходимо всегда устанавливать разрыв, соперничество интересов между дворянством и народом, так, чтобы их недовольство не объединилось. [53]

Я вам процитировал всё это на самом деле потому, что я считаю, что если сравнить этот текст с текстом Макиавелли, который по некоторым своим параметрам с ним схож, то тем не менее, весьма быстро обнаружится различие. Впрочем, следует сразу же заметить, что Бэкон ссылается на Макиавелли и с похвалами его цитирует. [54] Несмотря на это, я считаю, что различие очевидно. Проблема, поставленная Макиавелли, — что это была за проблема? Это была, в сущности, проблема государя, над которым висела угроза лишения власти. Как должен действовать государь, чтобы её не лишиться? То есть приобретение или потеря владения, в сущности, и ставились под сомнение у Макиавелли. Здесь, по сути дела, не было проблемы лишения власти короля, не было возможности, чтобы король был изгнан из своего королевства и утратил его, об этом никогда не упоминалось. [55] О чём упоминалось, так это, напротив, о некоей возможности, постоянно имеющейся внутри государства, составлявшей в какой-то мере сторону повседневной жизни государства, во всяком случае, об одной из возможностей, внутренне свойственных самому государству. Этой возможностью и был мятеж и возмущение. Возможность мятежа и возмущения — это нечто такое, что нуждается в управлении. И правительство — это один из аспектов его деятельности — как раз и будет брать ответственность за эту возможность мятежа и возмущения.

Во-вторых, Макиавелли явно различал то, что исходит от народа, и то, что исходит от знати. Идея макиавеллизма в том и заключается, что следует обратить внимание, что недовольство знати и недовольство народа никогда не проявляются вместе и никогда не усиливают друг друга. [56] Но для Макиавелли самая большая опасность исходит от знати, во всяком случае от врагов государя, исходит со стороны тех, кто думает о заговоре и

замышляет его. [57] Для Макиавелли народ был, в сущности, пассивен, наивен, он должен был служить инструментом для князя, так как в ином случае он служил инструментом для знати. Проблемой были споры между государём и его соперниками, как внешними, так и внутренними, теми, кто создавал военные коалиции против него, и теми, кто строил против него внутренние заговоры. Для Бэкона, как вы прекрасно видите, проблемой была не знать. Проблема — это народ. Народ для Бэкона также наивен, как и у Макиавелли. Но именно он и становится наиболее важным предметом, на который должно быть направлено государственное управление. В той мере, в какой у Макиавелли шла речь о сохранении владения, можно думать о знати и о соперниках. Теперь, когда речь идёт об управлении в соответствии с государственным интересом, то, о чём следует думать, то, что следует всегда иметь перед взором разума, это народ. Проблема правительства — это не соперники государя, это народ, так как знать опять-таки подкупается и обезглавливается. Они близки правительству, тогда как народ — это нечто такое, что одновременно является и близким, и отдалённым. Он действительно вызывает затруднения, он действительно опасен. Управлять — значит, по сути дела, управлять народом.

Третье различие между Бэконом и Макиавелли заключается, я считаю, в том, что расчёты Макиавелли распространяются, как мне кажется, на... как сказать? на характеристики государя, характеристики реальные или видимые. Проблема Макиавелли заключается в следующем: должен ли князь быть справедливым, или он должен быть несправедливым? Он должен казаться справедливым, или же он должен казаться несправедливым? Как он должен казаться грозным? Как он должен скрывать свои слабости? [58] В сущности, в расчёты у Макиавелли всегда принимаются эпитеты государя. У Бэкона, наоборот, дело в расчётах, которые не касаются эпитетов, реальных или видимых характеристик государя. Это расчёт, который обнаруживается на элементах одновременно и реальных и самых главных, — и тогда я ссылаюсь на средства, предлагаемые нам Бэконом против мятежей, — то есть, на экономику. Расчёт правительства, говорит Бэкон, должен распространяться на богатства, их обращение, на налоги, пошлины и так далее, именно это должно быть целью правительства. Итак, расчёт, который распространяется на элементы экономики, и расчёт, который распространяется на общественное мнение, то есть не на внешний вид государя, а на то, что происходит в головах людей, которыми управляют. Экономика и общественное мнение — это, как я считаю, два главных элемента реальности, которыми правительство должно манипулировать.

Итак, то, что обнаруживается здесь между строк, то, что едва намечено у Бэкона, это на самом деле и есть политическая практика эпохи, поскольку начиная с этой эпохи, как мы видим, развиваются, с одной стороны, политика, которая является политикой экономического расчёта, вместе с меркантилизмом, являющимся не теорией, но прежде всего политической практикой, а с другой стороны, первые большие пропагандистские кампании, которые во Франции сопровождают правление Ришельё. Ришельё изобрёл ведение политических кампаний путём пасквилей, памфлетов, и изобрёл ту профессию манипуляторов общественного мнения, которых в ту эпоху называли «публицистами». [59] Рождение экономистов, рождение публицистов. Эта были два главных аспекта реальности, два элемента, соотносимых с реальностью, которые возникают в тесной связи с управлением, экономикой и общественным мнением.

Наконец, в-третьих (здесь я потороплюсь, потому что, с одной стороны, прошёл уже час, и потом это вещи хорошо известные, хотя они и являются самыми главными), это проблема государственного интереса и истины. Ratio status, рациональность, внутренне присущая искусству управления, подразумевает, как и пастырство, определённое производство истины, но весьма отличающейся по-своему типу и по характеру циркуляции от той, которая обнаруживается в самом пастырстве. В пастырстве, как вы помните, было необходимо, чтобы была истина, постигаемая в обучении. Было необходимо при организации истины пастырства, чтобы пастырь знал то, что происходит в его общине. Было необходимо, чтобы каждый из пасомых открыл бы в себе истину, которую пастырь делает явной, и по отношению к этой истине пастырь оказывается если и не судьёй и гарантом, то по меньшей мере постоянным свидетелем. Именно этот круговорот истины и характеризует пасторство. В случае с государственным интересом и с этим новым способом управления людьми перед нами также открывается область истины, но, очевидно, совершенно иного типа. Во-первых, на уровне содержания, что необходимо знать, чтобы управлять? Я считаю, что здесь, очевидно, важное явление, самое важное преобразование. В образах, в представлении, в искусстве управления, как его определяли до начала XVII века, правитель, в сущности, должен был быть мудрым и осторожным. Что же значит быть мудрым? Быть мудрым, значит знать законы: знать позитивные законы страны, знать естественные законы, которым подчиняются все люди, знать, конечно же, и о законах и распоряжениях самого Бога.

Быть мудрым, значит также знать исторические примеры, образцы добродетели и создавать из них правила поведения. С другой стороны, правитель должен быть осторожным, то есть знать, в какой мере, в какой момент и при каких обстоятельствах необходимо на деле применять эту мудрость. В какой момент, например, необходимо, чтобы законы юстиции применялись бы во всей их строгости, а в какой момент, наоборот, необходимо, чтобы принципы справедливости преобладали над формальными правилами юстиции. Мудрость и осторожность, это в конечном счёте использование законов.

Я считаю, что начиная с XVII века появляется в качестве характеристики знания, необходимого тому, кто управляет, нечто совершенно иное. То, что суверен, или тот, кто управляет, суверен как тот, кто управляет, должен знать, это не просто законы, это даже не фундаментальные законы (хотя на них всегда, конечно же, ссылаются, и их необходимо знать), но, как я считаю, что является одновременно новым, самым главным и определяющим, суверен должен знать те элементы, которые образуют государство в том смысле, в каком Палаццо в тексте, с которого я начал, говорил о государстве. То есть необходимо, чтобы тот, кто управляет, знал элементы, позволяющие сохранить государство, сохранить государство с его силой или с необходимым развитием силы государства, чтобы над ним не господствовали другие, и чтобы оно не утратило своего существования, утратив свою силу. То есть знание, необходимое суверену, будет, скорее, знанием вещей, чем знанием законов, и те вещи, которые он должен знать, те вещи, которые являются самой реальностью государства, это и есть как раз то, что в эту эпоху называют «статистикой». Статистика, этимологически, это знание о государстве, знание сил и ресурсов, которые характеризуют государство в данный момент. Например: знание о населении, о его численности, его смертности, рождаемости, оценка различных категорий индивидов в государстве и их богатства, оценка возможных богатств, которыми располагает государство: шахты, леса и так далее, оценка произведённых богатств, оценка богатств в

обращении, оценка торгового баланса, размеры пошлин и налогов, — все эти данные и многие другие теперь образуют важное содержание знаний правителя. И так, уже не корпус законов или, когда это необходимо, ловкость их применения, но совокупность технических знаний, характеризующих саму реальность государства.

Технически, разумеется, такое знание о государстве создаёт большое число трудностей. Известно, что статистика развивается прежде всего там, где государства были самыми маленькими, или там, где была благоприятная ситуация, как например в Ирландии, оккупированной Англией, [60] где возможность точного знания о том, каковы были её ресурсы, обеспечивалась незначительностью страны и военной оккупацией, которая была совершена. Развивалась статистика также и в маленьких немецких государствах, [61] поскольку здесь единицы, подлежащие исследованию, были более мелкими. Необходимо также в силу этих технических трудностей брать административный аппарат не таким, как он существует, но таким, чтобы можно было бы каждое мгновение знать точно, что происходит в королевстве, административный аппарат, который не был бы просто агентом исполнения приказов суверена или агентом взимания налогов, богатств, агентом отбора людей, в которых нуждается суверен, но административный аппарат, который был бы в то же самое время аппаратом познания, как наиболее важной стороны отправления власти. [62]

(После анализа «содержания» знания, востребованного государственным интересом, М. Фуко в рукописи кратко описывает его «форму»: 1) вначале «расследования и постоянные отчёты», позволяющие сформировать «специфическое знание, которое постоянно рождается при самом отправлении управленческой власти, которое с ней соотносится. Которое её всякий раз объясняет и которое указывает не на то, что следует делать, но на то, что существует и что может существовать. Знание, которое требовалось для политики, зависело от практического интереса. Раньше это всегда было знание «что делать» (в границах ловкости, осторожности, мудрости, добродетели). Знание, в сущности, предписывающее, связанное с *exemplum*, из которого извлекаются позитивные и негативные советы. Теперь же правительство намерено довольствоваться одним лишь фактическим, современным знанием, связанным с реальностью (государством), с существующим вокруг него полем возможного и невозможного. Государство — эта инстанция реальности, которая определяет возможности правительства; 2) секрет — «это знание о силах (реальности + возможности) во множестве случаев является инструментом правительства лишь при условии, что оно не будет разглашено». Только этот второй пункт оказался востребованным на лекции. — Прим. ред.)

Можно добавить к этому определённое число других элементов, таких, например, как проблема секрета. На самом деле знание, что государство должно сформироваться само и на собственной основе, это знание рискует потерять некоторое количество своих следствий и не дать тех результатов, которые ожидаются если, в сущности, всему миру известно, что же происходит; в частности, враги государства, соперники государства не должны знать, каковы реальные ресурсы (богатства, люди), которыми оно располагает. И так, необходимость секрета. Необходимость исследований, которые в какой-то мере соотносились бы с деятельностью администрации, но необходимость также и точного кодирования того, что может быть опубликовано, и того, что публиковать нельзя. Именно

это и требовалось в то время — и явно было стороной государственного интереса — *arsana imperii*, секреты власти, [63] и, в частности, статистика длительное время рассматривалась как секрет власти, не подлежащий разглашению. [64]

Наконец, в-третьих, всё ещё на этом уровне практики истины, проблема публики, то есть государственный интерес должен вмешиваться в сознание людей, не просто чтобы навязать им некоторое количество истинных или ложных верований, как например тогда, когда правители желают верить в свою легитимность или в неправомочность своих соперников, но таким способом, чтобы их мнение было бы изменено, а вместе с их мнением и способ действий людей, их манеры, их поведение в качестве экономических субъектов, их поведение в качестве политических субъектов. Именно эта работа общественного мнения становится одним из аспектов политики истины в государственном интересе. (Рукопись добавляет: «Общество как субъект-объект знания: субъект знания, которым является «мнение», и объект знания, которое есть знание совершенно иного типа, поскольку есть мнение об объекте и речь идёт о способности государства изменить мнение или его использовать, сделать своим инструментом. Мы далеки от «добродетельной» идеи коммуникации монарха и его подданных в общем познании человеческих, природных и божественных законов. Далеки также и от «циничной» идеи государя, который лжёт своим подданным, чтобы крепче сидеть на троне и сохранять свою власть». — Прим. ред.)

Рассказывая вам всё это, я ни в коей мере не желаю создать генеалогию самого государства или его историю. Я просто хотел показать несколько сторон или несколько граней того, что можно назвать рефлексивно-практической, или просто рефлексивной призмой, в которой в XVI веке, в конце XVI — начале XVII века проявилась проблема государства. Как если бы я вам сказал: я не желал создавать для вас историю в терминах астрофизики планеты Земля, я желал создать историю рефлексивной призмы, позволяющей начиная с определённого момента понять, что Земля была планетой. Это почти одно и то же, с небольшим различием. Дело в том, что когда просто создаётся история наук, когда просто создаётся история того способа, каким было получено, сформировано знание, что Земля оказалась планетой по отношению к солнцу, когда создаётся история, подобная этой, то очевидно, что создаётся история совершенно автономной и независимой серии событий, которая не имеет ничего общего с эволюцией самого космоса. То, что с определённого момента стало известно, что Земля является планетой, не оказало никакого влияния на положение Земли в космосе, это само собой разумеется, тогда как появление государства на горизонте рефлексивной практики, в конце XVI и в начале XVII века, имело, безусловно, самое важное значение в истории государства и в том способе, каким на самом деле кристаллизировались государственные институты.

Рефлексивное событие, совокупность процессов, посредством которых государство действительно в данный момент входит в рефлексивную практику людей, способ, каким государство в данный момент стало для тех, кем управляют, для тех, кто соглашается с правителями, для тех, кто осмысливает правительства и действия правительств, какими они их видят [...], этот способ был наверняка не фактором, безусловно определяющим развитие государственных структур, которые в действительности существовали гораздо раньше, — армии, налоговой системы, правосудия; всё это существовало гораздо раньше, — но это было безусловно важным для того, чтобы все эти элементы вошли в область активной,

согласованной, рефлексивной практики, в область, которая и была государством. Нельзя говорить о государстве как о вещи, как если бы это была сущность, развивающаяся на своей собственной основе и воздействующая посредством спонтанной, почти автоматической механики на индивидов. Государство — это практика. Государство нельзя отделить от совокупности практик, которые действительно были причиной того, что государство стало способом управления, способом действия, а также способом связи с правительством.

Именно такую разновидность рефлексивной призмы я и попытался выделить, и теперь я завершаю одним простым замечанием (я хотел бы сделать и другие, но я попытаюсь сделать это в следующий раз). Дело в том, что в рамках этого анализа государственного интереса, рассмотренного со стороны понятий спасения и государственного переворота, со стороны понятий послушания и подчинения, со стороны понятий истины, исследования и публики, имеется тем не менее один элемент, который в одно и то же время является... я сказал бы... присутствующим и отсутствующим — определённым способом присутствующим, но скорее отсутствующим, чем присутствующим. Этот элемент — это население. Население, оно присутствует в той мере, в какой, когда говорят: какова же окончательная цель государства? то отвечают: окончательная цель государства — это само государство, но это само государство в той мере, в какой это государство должно быть счастливым, должно быть процветающим и так далее, можно сказать, что понятие населения, бывшего и субъектом и объектом этого высшего счастья, лишь слегка намечено. Когда говорят о послушании, и что основополагающим элементом послушания в управленческой системе является народ, народ, который может взбунтоваться, то вы видите, что понятие населения присутствует, хотя и в незначительной степени. Когда говорят о публике, о той публике, на мнение которой следует воздействовать таким образом, чтобы изменить её поведение, то мы уже близки к понятию населения. Но я думаю, что действительно рефлексивный элемент населения, понятие населения не присутствует и не имеет оперативного значения в этом первом анализе государственного интереса.

Государственный интерес, в сущности, говорит только о благополучии без субъекта. Когда Хемниц, например, определяет, чем является государственный интерес, он говорит о «благополучии государства» и никогда о «благополучии населения». [65] Вовсе не люди должны быть счастливы, вовсе не люди должны процветать, в самом крайнем случае вовсе не люди должны быть богаты, но само государство. Это одна из основополагающих черт меркантилистской политики той эпохи. Проблема — это богатство государства, а не богатство населения. Государственный интерес — это отношение государства к самому себе, самопроявление, в котором элемент населения намечен, но ещё не присутствует в полной мере, намечен, но не осмыслен. Точно так же, когда речь идёт о мятежах у Бэкона, когда речь идёт о бедности и недовольстве, то мы весьма близки к населению, но Бэкон никогда не рассматривал население состоящим из экономических субъектов, которые были способны на автономное поведение. Речь идёт о богатствах, об обращении богатств, о торговом балансе, но речь не идёт о населении как экономическом субъекте. И когда по поводу истины теоретики государственного интереса настаивают на понятии публики, на необходимости иметь общественное мнение, то это в каком-то отношении и есть тот пассивный способ, каким такой анализ осуществляется. Речь идёт о том, чтобы дать индивидам определённое представление, определённую идею, навязать им нечто, и ни в коей мере не воспользоваться активно их позицией, мнением, способом действий.

Иными словами, я считаю, что государственный интерес прекрасно определяет искусство управления, в котором обращение к населению подразумевается, но ещё не попало в фокус призмы рефлексии. То, что будет происходить с начала XVII века и до середины XVIII века, окажется серией преобразований, благодаря которым и через которые этот центральный элемент во всей политической жизни, во всей политической рефлексии, во всей политической науке начиная с XVIII века, это понятие населения будет разрабатываться. Оно будет разрабатываться посредством аппарата, учреждённого с целью обеспечить функционирование государственного интереса. Такой аппарат — это полиция. И такое вмешательство в область практики, которое будут называть полицией, такое вмешательство, которое, в этой общей теории, будет абсолютизировать государственный интерес, и выявит этот новый субъект. Именно это я попытаюсь вам объяснить в следующий раз.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 22:05:35

Зверобой обновил 27 января 2026 22:12:28